

в выражении „Се же бе написах, бежа от лица художества моего“ и пр. Но контекст оказался в противоречии с этим новым понятием; поэтому редактор изменил все это место, находя, по своему обыкновению, необходимые ему слова в тексте своего источника. Сейчас это место выглядит в „Моление“ так: „Тем окушахся написати. Се бежах от лица худости (Ч скудости) моя, аки Агар рабыня от руки Сарры госпожа своя (Ч, V, VI)“. Текст явно обесмыслен. Его изменение шло следующим путем: „бежа(х) от лица художества моего („Слово“), „... худости моя („Моление“)“, „... скудости моя („Послание“)“.

В контексте „Слова“ это место имеет ясный и определенный смысл. Сказав, что он не раскаивается в том, что он написал, хотя вслед за этим и постигли его невзгоды, и попутно дав замечательную самохарактеристику, автор „Слова“ в конце введения говорит о последних обстоятельствах, сопровождавших его работу; конечно, только работу над „Словом“, а не какую-либо иную. Был ли он думцем, работал ли в княжеской канцелярии, плавил ли золото и серебро, раскалял ли железо, делал ли „замечательные новгородские сосуды“ (М. Н. Тихомиров)—он многое из этого знал и понимал,—но все это не имеет никакого отношения к содержанию введения в „Слове“. Здесь речь идет о его литературном труде,—его „художестве“. „Се же бе написах,—говорит он,—бежа(х) от лица художества моего, аки Агарь рабыни от Сарры госпожа своя“, т. е. „И вот написав, я избежал того, что я создал, как рабыня Агарь бежала от своей госпожи Сарры“. И вслед за этим: „Но видих, господине, твое добросердие к себе и притекох к обычной твоей любви (А, VI)“, т. е. „Но я видел, господин, твое расположение к себе („Моление“ Веды, господине, твое доброразумие, „Послание“ ... благоразумие; все совершенно неверно) и прибегнул к твоей неизменной любви“.

И, наконец, замечательная концовка из умело подобранных цитат: „Говорит ведь святое писание: «просите и примете». Давид сказал: «То не речи, не слова, если они не прозвучали (если их нельзя услышать)» (Ч, VII)“. Конкретный смысл этих заключительных слов введения трудно раскрыть. Можно только предполагать, что они выражают желание автора видеть свой труд, свое „художество“, в действии, идеи, высказанные им, осуществленными. Было бы очень смело предполагать, что автор „Слова“ хотел быть услышанным князем („не сут речи, ни словеса, их же не слышатся гласи их“), произнести свое „Слово“ в его присутствии, так как мы в настоящее время еще не знаем, как часты были в культурной жизни древней Руси случаи устного произнесения так называемых „слов“. Но ораторская природа „Слова“ и близость его автора к князю не исключают такого именно желаний его. Как бы то ни было, но невозможно отрицать, по крайней мере, ясно выраженную здесь заботу автора о своем „художестве“.

Введение в „Слово“ явно автобиографично. В нем хорошо раскрыта цель „Слова“ и обстоятельства его создания. Оно легко развеивает легенду о мнимых преступлениях автора „Слова“ и внушает сомнение в том, что он был в заточении.

Начальные строки его (А, I)—это вдохновенный гимн в честь разума и мудрости: красота и мудрость, по словам автора, укрепляют сердце разумного в теле его. Эта высокая оценка разума и мудрости как лейтмотив проходит через все дальнейшее изложение, конкретизируясь в десятках афоризмов, пословиц, метких и острых слов.

Автор „Слова“ хотел написать обо всем том, что стесняло, отягчало его сердце („написати всяк съуз сердца моего“). Написав, он боится